**Т. ГЕВОРКЯН**

**Мифы и догадки при свете фактов**

**К новым материалам о Марине Цветаевой**

http://magazines.russ.ru/.img/t.gif

**Опубликовано в журнале:**[**«Вопросы литературы» 2006, №5**](http://magazines.russ.ru/voplit/2006/5/)

1. Поэт и семья

Прошел год после выхода в свет «Дневников» Георгия Эфрона. Что они вызывают к серьезному разговору, стало ясно сразу. В моем случае — к разговору о Марине Цветаевой, а не о нем самом. Потому что за себя говорит сам Мур (так домашние называли Георгия). За себя, каким он был, каким, взрослея и меняясь, он тем не менее оставался в 1940 — 1943 годы. И комментарии здесь излишни, и хотя бы в память о его матери стоит от них воздержаться. А как бы он преобразился (если предположить такую перспективу), проживи он дольше, можно — с той или иной долей вероятности — только гадать, а это занятие способно увлечь далеко не каждого. Во всяком случае, меня оно не увлекает.

Вообще стоит, думаю, прояснить вопрос нашего отношения к эпистолярному, очерковому, дневниковому наследию членов цветаевской семьи и ее окружения. Будут ли это «Записки добровольца» или рассказы Сергея Эфрона, его малоизвест­ные письма к сестрам и матери1, будет ли это переписка  Анастасии Цветаевой с Ариадной Эфрон или том из серии «Неизданное» — «Семья: история в письмах», будут ли это письма, а теперь вот и «Дневники» Георгия Эфрона, — все эти (и многие другие) тексты, как и стоящие за ними люди, вызывают сегодня *такой* интерес и *такое* внимание *главнымобразом* потому, что они связаны с именем Марины Цветаевой. И нет здесь никакого умаления личностей этих людей, их судеб и их дел. Это просто факт, вполне естественный и очевидный, и его надо, по-моему, зафиксировав, принять.

Что и делает, к примеру, Елена Коркина, когда в преди­словии к «Запискам добровольца» пишет: «Задача предисловия — представить читателю автора, и чем портрет его разностороннее, тем больше оснований для читательского доверия к книге. Потому начнем с главного и определяющего: Сергей Эфрон — избранник и спутник жизни Марины Цветаевой»2. И только вслед за этим будет вкратце рассказано о семье Эфронов-Дурново, о революционно-террористической деятельности родителей, о трагической гибели матери и брата, обо всем том, что сформировало личность Сергея Яковлевича и во многом предопределило его судьбу, которую в чем-то вольно, а в чем-то вынужденно разделила с ним его жена.И предпринято издание, предложена книга тысячам читателей в силу этого «главного и определяющего» обстоятельства: все, связанное с Мариной Цветаевой, все, добавляющее еще один и всегда *не* лишний штрих к ее портрету, обречено на большую, не ограниченную номинальным тиражом книги, аудиторию.Другими словами, без цветаевского фона и сопровождения (а в книгу включены еще и стихотворения Цветаевой, обращенные к мужу) литературно-публицистическое наследие Сергея Эфрона осталось бы малозамеченным, осталось бы внутри своего времени, на страницах старых эмигрантских журналов и, даже опубликованное теперь по каким-то соображениям отдельной книжкой, вряд ли вызвало бы сколько-нибудь заинтересованную читательскую реакцию.

По существу, так же обстоит дело и с «Дневниками» Георгия Эфрона. Что и констатируют в предисловии издатели — Елена Коркина и Вероника Лосская: «Дневники Георгия Эфрона в первую очередь привлекут к себе внимание потому, что он был сыном Марины Цветаевой и в последние два года ее жизни единственным и самым близким свидетелем и участ­ником ее повседневного существования»3. А также, добавим от себя очевидное, — ее добровольного ухода из жизни. Далее авторы предисловия совершенно справедливо скажут о двух других причинах ценности этого свидетельства времени, человеческой психологии и судьбы. Но и первой достаточно было бы для публикации «Дневников» и чрезвычайно интенсивного к ним интереса. Собственно, ею, этой причиной, и обусловлено, как и в случае с «Записками добровольца», само издание книги. И именно этой стороной я и ограничусь, не без оснований считая, что сын своим не подлежащим сомнению свидетельством вносит в сложившийся в нынешнем восприятии образ матери, в ее предсмертие, в посмертную ее судьбу весьма существенные если не коррективы, то, во всяком случае, уточнения и добавления. Задавшись же целью выявить и осмыслить именно их, то есть переориентировать эгоцентриче­ский этот документ на другого человека, сделать центром внимания мать (Цветаеву), а не сына (Мура), я позволю себе воздержаться от сколько-нибудь развернутых и аргументированных ответов на напрашивающиеся вопросы о том, вызывает ли автор дневников наше сочувствие (вызывает, разумеется), дает ли он основания для негодования и, с позволения сказать, оторопи (разумеется, дает). Тем более воздержусь, что этим вопросам, касающимся личности Георгия Эфрона, посвящены опубликованные по свежему следу издания статьи и рецензии.

Замечу только, что постановочно-точная позиция двух вышеназванных предисловий если не исключение, то никак и не общепризнанное правило. К сожалению, нередко в разговорах и записях о семейно-близком окружении Марины Цветаевой — о людях, которым выпала редчайшая привилегия (осознанная ими или нет) сопричастности ее жизни и столь же редкостное счастье (трудное и обычно не ценимое) повседневной близости к гению, о людях, чьи имена увековечились этой близостью, — превалирует отстаивание исключительности всех и каждого чуть ли не в ущерб самой Цветаевой, чуть ли не в ревниво-соревновательном сопоставлении.

Приведу только один пример: именины Анастасии Цветаевой, отмечаемые в Борисоглебском Доме Марины Цветаевой. Попала на них два года назад и долго еще не смогу забыть пародийно-жалких усилий организаторов этого вечера, направленных на то, чтобы утвердить Анастасию Ивановну в образе великого и мудрого духовного пастыря, некоего собирателя и целителя заблудших и страждущих, в образе смиренной христианки (в отличие, разумеется, от старшей сестры), достойной чуть ли не церковной канонизации.

Словом, суета сует и всяческая суета…

 2. Поэт и толпа

Вернемся, однако, к «Дневникам» Георгия Эфрона. Но прежде чем заняться непосредственно ими, обратим внимание на кричащий разнобой мнений относительно сегодняшнего цветаеведения, и сделаем это для того, чтобы в самых беглых чертах показать, на какую почву лег невольный сыновний «комментарий» к судьбе матери.

Вот мнение Дмитрия Быкова, вынесенное в подзаголовок его статьи и потом развернутое в самом ее тексте: «*Никогда еще — кроме разве последних двух лет земного существования — не было Цветаевой так плохо, как сейчас.* Никогда. Во-первых, подавляющее большинство публикаций так или иначе посвящено особенностям цветаевской сексуальной ориентации. Видимо, ни в каком другом качестве поэт сегодня не способен заинтересовать широкую аудиторию…»4. И еще один упрек бросает Д. Быков, на сей раз тем, «кто утверждает, что Цветаева была плохой матерью». Ибо «мать, вырастившая такого ребенка (речь идет об Ариадне Эфрон. — *Т.Г*.), не знает себе равных»5.

А вот прямо противоположное мнение Маргариты Духаниной: «Не надо обладать особой наблюдательностью, чтобы заметить: и у литературоведов, и у читателей существует настоящий культ Цветаевой и увлечение ее творчеством почти всегда переходит в увлечение личностью поэта <…> Но ведь земной, жизненный путь любого человека не обходится без проб и ошибок, и нельзя возводить этот путь в абсолют — обстоятельство, в случае с Цветаевой чаще всего неучитываемое. Благими намерениями и усилиями многочисленных цветаеведов личность Цветаевой превращена в “благоуханную легенду” <…> Традицию эту заложили близкие — А.С. Эфрон, А.И. Цветаева; их субъективизм абсолютно понятен и по-человечески симпатичен. Но почему и зачем “благоуханные легенды” создают историки и филологи, претендующие на некую долю объективности и беспристрастия?»6

Такая вот амплитуда колебаний… И прямо непонятно, что с нею делать. Особенно с «благоуханной легендой». Попробую все же разобраться.

 И постараюсь не быть категоричной, не стану, например, утверждать, что никто не «возводит в абсолют» жизнь, поэзию и сам образ Марины Цветаевой. Может быть, кто-нибудь так и поступает. Но это никак не Анна Саакянц, не Виктория Швейцер, не ИрмаКудрова, не Елена Коркина, не Ирина Шевеленко, а между тем здесь перечислены имена самых, пожалуй, известных и авторитетных цветаеведов. Но для М. Духаниной дело, думаю, не в именах и не в частных случаях (хотя она и выражает свое несогласие с концепцией книги В. Швейцер «Быт и бытие Марины Цветаевой»): у нее есть своя путеводная мысль, своя нравственная (высоконравственная?) установка, которую она стремится привить всем вообще «историкам и филологам». А именно — она ратует за то, чтобы к Цветаевой (равно как и к другим гениям) подходили, как к «любому человеку», не делали бы для нее исключения как для некоего «небожителя». Но, напротив, найдя какой-нибудь «порок» (нечто «черное») не списывали бы его на счет особого внутреннего устройства Поэта, а публично пригвоздили бы ее к позорному столбу.

Не знаю, как Духаниной, а мне в связи с этим требованием вспоминаются бессмертные слова Пушкина: «Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. *Он мал, как мы, он мерзок, как мы!* Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы, — иначе»7. И вспоминаются эти пушкинские слова тем настойчивее, что Цветаева, в своем неиссякаемом желании быть понятой, оставила нам во множестве «исповеди и записи».

Но, судя по всему, автору новомирской статьи такие аналогии в голову не приходили, иначе она не закончила бы свои размышления нижеследующим выразительным пассажем: «Конечно, каждый пишущий (и вообще творческий) человек (это в связи с Цветаевой *—* «**каждый**пишущий и**вообще**творческий человек»? *— Т.Г.*) волен выбирать сам (но если речь все-таки о Поэтах, а не о **каждом-всяком,** то как быть с тютчевским «Поэт всесилен, как стихия, /Не властенлишь в себе самом», то есть выбирать-то как раз не волен*.* — *Т.Г.*) орфеем ли ему быть, а потом уже — человеком или наоборот («Честнее с головой Орфеевой — менады!»*,* чем такая постановка вопроса. *— Т.Г.*). И в нашем праве решать, будем ли мы относиться к Поэтам как к небожителям, которым все и всегда дозволено, или все-таки как к прежде всего людям. Нам безумно дорого то, что дарует их голос (разве что**без-умно***. — Т.Г.*). Но часто мы не помним, какой монетой (? — *Т.Г.*) бывает оплачен их выбор. И может быть, если мы, именно мы (ничем не обеспеченная настойчивость: почему, собственно, именно *мы*, и кто это **«***мы***»**, и почему такой эксперимент предпринимается именно в связи с Цветаевой? *— Т.Г.*), не скажем однажды, что великие законы мира (Божьи и человеческие) все-таки одинаковы для всех, поэты так и будут платить — собственной искалеченной жизнью»8.

М. Духанина решительно отказывается, как мы видим, понимать, что «собственной искалеченной жизнью» (порой и не только собственной), а не какой-нибудь другой «монетой» платят поэты за то «безумно для нас дорогое», «что дарует их голос», и если «мы» — это любящие и понимающие поэзию, если «именно мы» — это люди, черпающие в поэзии незаменимую духовную пищу, то, вознамерившись напоминать поэтам расхожие нравственные истины и законы, мы вполне заслужим, полагаю, горький цветаевский упрек: «лизатели сливок». Имею, впрочем, основания думать, что духанинское «мы» совсем другое…

Вообще же — за полной несостоятельностью благостных нравоучений, обращенных в статье к великим Поэтам, нравоучений, которые никак не пристали, по-моему, «историкам и филологам», а разве что обывателям, — на них как-то даже неловко возражать.

Вместо этого стоит представить себе Лермонтова, например, читающего эту новомирскую статью.

Лермонтова, который в свои пятнадцать лет знал уже, как властен великий искус творчества, как победительно распоряжается он поэтом, уводя его на путь «страстей», «заблуждений», «дикого волненья» и «грешных песен».

Лермонтова, который в первой (1829 год) из трех своих «Молитв» («Не обвиняй меня, всесильный…») просит Бога либо не осуждать его за «грех» творчества, либо *освободить* от поэтического дара:

Но угаси сей чудный пламень,

Всесожигающий костер,

Преобрати мне сердце в камень,

Останови голодный взор;

От страшной жажды песнопенья

Пускай, творец, освобожусь,

Тогда на тесный путь спасенья

К тебе я снова обращусь.

Лермонтова, и рядом с ним Блока, который в своем обращении к Музе дал всем бывшим, настоящим и будущим «историкам и филологам» неотменимый, казалось бы, ответ на грошовые душеспасительные их наставления. Ибо Блок, как Цветаева и Лермонтов, как Пушкин и Тютчев, знал, не хуже всевозможных наставников знал «великие законы мира (Божьи и человеческие)», а кроме того и сверх того, он знал «мученье и ад», *даруемые*Музой, «мученье и ад», которые Поэт не променяет добровольно (точнее, своевольно) на «*тесный* путь спасенья», потому хотя бы, что не в его это воле:

Есть в напевах твоих сокровенных

Роковая о гибели весть.

Есть проклятье заветов священных,

Поругание счастия есть.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Я хотел, чтоб мы были врагами,

Так за что ж подарила мне ты

Луг с цветами и твердь со звездами —

Все проклятье своей красоты?

Один Гоголь попробовал променять, поверив, что такова воля Божья. И отрекся от писательства. И, отрекшись, сжег все, к тому времени написанное. И лишь затем понял, чью волю он исполнил: «Как лукавый силен! Вот он до чего меня довел». А потом стал беспричинно умирать — «тесный путь спасенья» оказался равен уходу из жизни. Обыкновенным человеком — «как все» — он стать не мог.

Забавно, однако, что Духанина считает Лермонтова своим союзником — против Цветаевой. И в подтверждение ссылается на ту же «Молитву», находя ее звеном в «круговой поруке добра» истинных поэтов. Она утверждает, что сама «Цветаева этого не делает», ибо «это разрушило бы ее концепцию: “Найдите мне поэта без Пугачева! Без Самозванца! Без корсиканца! — *внутри*”»9. Вероятно, лермонтовского Демона (*внутри!*)Духаниной мало. Да и «Молитву», похоже, она прочитала по-своему и совсем не так, как написал ее юный гений.

Стоит, полагаю, ограничиться сказанным и подвести предварительный итог: статья М. Духаниной «Нецелованный крест» (к которой мне еще придется вернуться в связи с Георгием Эфроном и его «Дневниками»; собственно я и уделила ей здесь столько внимания потому, что она, будучи шире темы, заданной «Дневниками», находится все-таки внутри нее) опровергает выдвинутый в ней же тезис о том, как преувеличенно хороша сегодняшняя судьба Марины Цветаевой. Но *насколько* плохо Цветаевой в наши дни, она одна показать не в состоянии. Тут придется обратиться к другому «филологу».

В № 10 газеты «Аргументы и факты» (Международное издание) за 2004 год под интригующим названием «Ее спас Михалков и предал Кашпировский» помещена беседа с украинской писательницей Валерией Врублевской, женой бывшего помощника бывшего «первого секретаря украинской компартии Щербицкого». Незадолго до публикации она отметила свое 65-летие и вот теперь бойко рассуждала о том, как «черная сила» Кашпировского, который не смог ее «согнуть», наслала на нее порчу на целых шесть лет; о том, что советская власть, «хоть говорила правду о капитализме», а «миллионы людей» «бросала за решетку», ибо — «что же власть должна делать с теми, кто выступал против существующего строя?»; рассуждала и о том, что «нищие культуру не создают», и сетовала в прямой связи с этим — «у нас нет даже культуры быта…». Словом, беседа удалась на славу.

А под самый конец, как оно и водится, была припасена сенсация с подзаголовком «Тайна Цветаевой». Тут Врублевская особенно блеснула широтой своих взглядов, мудростью, а также душевной и психологической тонкостью. В связи с новой своей пьесой «Окаянные женщины» Врублевская сказала (а газета опубликовала!), «что поэту позволено то, что не разрешено обычному человеку, потому что он знает о жизни больше других. Марина Цветаева, например, вступала в интимные отношения с женщинами. Очевидно, в ее жизни был и инцест. Сын ее страшно ненавидел. Мне кажется, только изнасилованный мальчик может так ненавидеть мать. Он не называл ее мамой, только Мариной Ивановной. Когда же она повесилась, сын сказал: “Она правильно сделала. У нее не было другого выхода”».

Чем не «благоуханная легенда»?!

Впрочем, «благоуханность» такого свойства в приличном обществе принято игнорировать. И я прекрасно это знаю. Но я знаю также и то, что гнусную эту клевету прочитали и запомнили (скорее всего, поверив и даже порадовавшись:«*Он мал, как мы, он мерзок, как мы!*») миллионы читателей газеты, которая вопреки своему названию «фактом» сочла бессовест­ный оговор, а «аргументом» жеманное «мне кажется» пожилой дамы, вздыхающей о своей номенклатурной молодости и былой привлекательности (не случайно материал сопровожден фотографией Врублевской времен «пика ее славы», фотографией, сделанной на фоне теплохода «Товарищ», приятно, по всей видимости, напоминающего ей старую добрую советскую власть).

Я знаю также, что бесконечные сплетни вокруг имени Цветаевой падают на благодатную почву и в среде филологов-преподавателей. Один такой филолог (тоже немолодая уже дама), заходящая в аудиторию с лекционным курсом «Литература русского зарубежья», свое отношение к Цветаевой («безнравственная женщина») простирает так далеко, что отказывается читать курсовые и дипломные работы о ее творчестве. Такая вот высоконравственная обструкция, и о ней мне рассказывали студенты одного ереванского вуза, где заслуженная эта дама преподает уже много десятилетий. Впрочем, так ли уж велика ее вина в свете «благоуханных легенд», творимых на родине Цветаевой?

А еще я знаю (самой довелось слышать), что Роман Виктюк, который, «по слухам», дошедшим до газеты, собирался поставить «Окаянных женщин», еще в конце 1990-х годов перед многомиллионной телеаудиторией говорил, что ему необязательно точно знать и уж тем более доказывать реальность кровосмесительной связи Цветаевой с сыном, — ему, как художнику, достаточно (и, вероятно, нетрудно) предположить нечто подобное, чтобы чувствовать себя вправе поставить соответствующий спектакль. Кому же, как не ему, объединиться с Валерией Врублевской в реализации своих «художнических» прав?

А факты? Побоку факты! Ведь главное — покрасоваться в роли раскрывателя самых последних тайн (не беда, что придуманных!), щегольнуть своимвсепониманием, да еще и сдобрить клевету лицемерным «поэту позволено то, что не разрешено обычному человеку». Тем более что и тебе — как *почти* поэту, как художнику слова или сцены — тоже немало чего будет как бы позволено.

Любопытно, однако, получается. Автор «Нецелованного креста» строг к Поэту и не предполагает для него никаких особых «дозволенностей» — пусть будет добр вести себя как все. Автор «Окаянных женщин» в отношении Поэта, по видимости, мягче и эластичнее: «он знает о жизни больше других», поэтому ему «позволено» больше, чем обычному человеку. Диаметрально разные, вроде бы, позиции. А результат один — Марине Цветаевой (поэту и человеку) от обоих прикосновений к ее судьбе нестерпимо плохо.

Потому что не стало у нас культуры публичного высказывания, этики обращения с духовными ценностями. А ведь были они — достаточно вспомнить книгу Нины Берберовой о Чайковском…

Потому что оба этих голоса — «из толпы», независимо от того, в какие идейные, религиозные, профессиональные одежды облачены их носительницы. «Толпа» и есть то самое «мы», считающее себя вправе просветить «однажды» Поэта отно­си­тельно «великих законов мира (Божьих и человеческих)», которые он по недомыслию своему, по отсутствию подлинных и единственных нравственных ориентиров нарушает. Почерк «толпы» безошибочно узнается в приеме «обсуждения»   Поэта, сплетни о нем, поучения ему, узнается и по подспуд­ному сравнению с собой — все за него знающим и понима­ющим.

Разумеется, разница между двумя этими публикациями *очень* *велика*. Но и «толпа» многолика и в полярных своих проявлениях почти неузнаваема: обыденное ее сознание наделено богатой способностью к мимикрии.

Разумеется, поместившие две эти публикации издания — журнал «Новый мир» и газета «Аргументы и факты» — тоже *очень разные*, и спрос с первого, естественно, строже.

Разумеется, *очень разную* реакцию вызывают две эти публикации: между неприятием и негодованием — целая пропасть.

Пушкин, если представить его заступником Цветаевой (а как бы ей этого хотелось!), мог бы, думаю, в ответ на первую статью сказать: «Подите прочь — какое дело Поэту мирному до вас». Автора газетной клеветы, будь тот мужчиной, Пушкин вызвал бы на дуэль.

3. «Лев на привязи»

Не на дуэль, конечно, но к ответу за клевету нынешних обидчиков матери, совершенно невольно и непреднамеренно, призывает со страниц опубликованных теперь «Дневников» Георгий Эфрон. И есть в этом какая-то высшая справедливость.

Во-первых, сыну и дулжно защищать честь матери. И уж тем более честь такой матери, как Марина Цветаева, записавшая в самый канун возвращения в Россию (28 мая 1939 года; практически последняя по времени запись в «Сводных тетрадях») такую вот «попутную и внезапную» свою мысль: «Я своего ребенка *обязана* любить больше своей чести. (Честь — просто!)»10.

Во-вторых, несмотря на все особенности и трудности своего характера, он и при жизни, совсем еще мальчишкой, старался не давать мать в обиду, брал ее сторону в разных столкновениях и конфликтах.

Об этом свидетельствует Ариадна Эфрон, писавшая в одном из своих писем к Анастасии Цветаевой: «Я его ни в чем не осуждаю, так же как и себя не осуждаю за то, что делала и чего не делала в ранней молодости <…> Я знаю только одно, что за все то время, что мы были вместе, он не только очень любил маму, но и очень хорошо умел проявлять эту любовь. С самых ранних лет относился к ней со взрослой чуткостью, чуя ее детским своим сердцем и понимая взрослым умом <…> В спорах отца с матерью или моих с ней, вообще во время семейных конфликтов, он или становился на ее сторону, или старался успокоить ее»11.

И в том же письме воспроизведен эпизод, имевший место в семье цветаевских друзей Артемовых: «Однажды возник спор — что лучше, поэзия или живопись, и мама доказывала, страстно и резко, что поэт — выше всех, что поэзия выше всех существующих искусств, что это — дар Божий, наконец дошли до необитаемого острова, где (мама) “поэт все равно, без единого человека вокруг, без пера и бумаги, все равно будет писать стихи, а если не писать, то все равно говорить, бормотать, петь свои стихи, совсем один, до последнего издыхания” — а Артемова: “а художник на необитаемом острове все равно будет острым камнем по плоскому царапать свои картины” — и тут мама расплакалась и сказала: “а все равно поэт — выше!” Мур, молча и внимательно наблюдавший за всем этим, *бросился с кулаками на Ар[темо]ву, крича плаксивым [детским] басом: “Дура! Не смей обижать маму!” (а потом к маме, припал к ней, обнял.Было ему что-то около семи лет…)»12.*

Еще ценнее свидетельств сестры немногочисленные, правда, но запоминающиеся фрагменты записей самого Георгия Эфрона, из которых явствует, что свойство это — оскорбляться за мать, заступаться за нее — он не утратил и в более зрелом возрасте13. Так, в дневниковой записи шестнадцатилетнего Мура (от 3 января 1941 года) читаем о склоках соседей по коммунальной квартире, где они тогда жили с Мариной Цветаевой: «Сегодня Воронцов учинил форменный скандал <…> Грозил, что напишет в домоуправление. Говорил, что мы развели грязь в кухне. Все это говорилось <…> в исключительно злобном тоне, угрожающем. Я выступал в роли умиротворителя, а после того как мать ушла из кухни, говорил Воронцову, чтобы он говорил с матерью полегче. Это самое худшее, что могло только случиться <…> Главное, что ужасно, это то, что этот Воронцов говорил исключительно резко и злобно с матерью. Моя мать представляет собой объективную ценность, и ужасно то, что ее третируют, как домохозяйку <…> И главное в том, что если бы дело касалось меня лично, то мне было бы абсолютно все равно. Но оно касается матери. Мать исключительно остро чувствует всякую несправедливость и обиду» (с. 265–266).

Обида за мать прозвучит и в записи от 9 мая 1941 года: «А какие сволочи наши соседи. По правде говоря, я никогда не подозревал, что могут существовать такие люди — злые дураки, особенно жена. Я их ненавижу, потому что они ненавидят мать, которая этого не заслуживает» (с. 331). Или — 18 июня: «Я страдаю за мать, я боюсь, как огня, скандалов, которые могут вспыхнуть из-за какой-нибудь не на место поставленной кастрюли» (с. 389). Или в другой связи и гораздо раньше — в августе 1940 года: «Как хотелось бы для матери спокойной, налаженной жизни, чтобы она могла нормально жить <…> Главное, я беспокоюсь и горюю за нее <…> Да, я мать очень жалею. Себя тоже. Но в другом духе и гораздо меньше, чем ее» (с. 174—175).

Даже нескольких этих цитат (а ряд их можно было бы продолжить) из «Дневников» достаточно, чтобы опровергнуть утверждение: «Сын ее страшно ненавидел», равно как и: «Он не называл ее мамой, только Мариной Ивановной». А ведь то были главные (и единственные!) «доказательства» инцеста. Между тем вплоть до рокового дня 31 августа Георгий, даже негодуя на «непрактичность», панику, растерянность, «маразм» матери, продолжал беспокоиться за нее, насколько вообще дано было ему беспокоиться за других, даже самых близких людей: «Боюсь за мать — как она будет возвращаться по такой грязи. Когда она приедет и какие вести принесет?» (с. 533), — записал он 25 августа, дожидаясь приезда Цветаевой из Чистополя. А инициалы М.И., вместо привычного «мать» (реже «мама»), появились в его дневниках лишь после смерти Марины Ивановны.

Как видим, никакой «ненависти» не было. Была эгоистическая сосредоточенность на себе, были жалобы на непонимание матери, была зачастую глухота к ее страхам и страданиям, была грубость в отстаивании своей самостоятельности…

Но все это, увы, свойственно многим и многим юношам, в том числе и выросшим в благополучных семьях в благоприятное время. Да, в Муре в силу внешних и внутренних обстоятельств все это проявлялось с утроенной силой и сверх всякой возрастной меры. И это больно ударяло по Марине Цветаевой, которую — поверх невообразимого своего эгоизма — он, конечно же, все-таки любил.

…А еще была сосредоточенность Мура на желанной, но пока для него неосуществимой близости с женщиной, был «зов плоти», отголоски которого звучат в многочисленных, очень откровенных записях, прямо и однозначно опровергающих наветы Врублевской и иже с ней. Ибо с *18 марта 1940 года*, когда эта тема впервые появляется в «Дневниках», до *26 августа 1941* *года* Георгий Эфрон будет снова и снова возвращаться к теме своей девственности, к больному для него и так и не разрешенному — в обозначенных временных рамках — «половому вопросу».

Он считал совершенно естественным обсуждать эту тему, и не только на страницах своего дневника или в разговорах с приятелем Митей (Дмитрий Сеземан). Мур был убежден, что вековая традиция замалчивания «физической любви» лицемерна и вредна. В этой связи его удивляло (ведь «моя мать» не какая-нибудь «рядовая мещанка», она — «культурная женщина, поэт и т.п.») и огорчало безразличие матери к его «терзаниям»: привыкший во всем встречать ее поддержку и помощь, он и здесь надеялся на нее, на ее советы, на ее заботу.

«Мне интересно, почему мать не говорит мне о половой зрелости и о стремлениях, которые появляются в связи с появлением этой зрелости, хотя она знает, что я нахожусь как раз в периоде “терзаний” всех мальчиков, — пишет пятнадцатилетний Мур. — <…> Почему не дать каких-то конкретных (пусть даже для меня и ненужных) наставлений? Почему не говорить: то-то хорошо, а то-то плохо, то следует не делать, а то можно и т.д.? И мы опять возвращаемся к старой теме: к сознательному пренебрежению и игнорированию половой жизни <…> Вполне возможно, что мать думает, что я сам научусь “делать, как надо”. Да и вообще она и не думает о моем половом воспитании, и это-то очень показательно и очень плохо. Но в этом отношении есть какой-то элемент незаботливости о своем сыне, который меня крайне удивляет, учитывая то, что мать всегда страшно заботится о том, как я ем, одет и т.п. Да, это странно и вместе с тем привычно. Неприятно то, что я совершенно лишен элементарных советов, исходящих от матери. Впрочем, чорт с ней» (с. 157–159).

Абстрагируясь от того, что есть «хорошо» и что есть «плохо» в вопросе полового воспитания подростка (ибо речь здесь совсем не об этом), заметим и подчеркнем только одно: как разительно отличается *реальный образ*Марины Цветаевой, засвидетельствованный сыном и уже по одному этому заслуживающий полного доверия, от ее *мифического* *образа*, который лепится любителями сенсационных (и, как им кажется, психологически обоснованных) «открытий» и «откровений».

Разумеется, они никак не могли ожидать, что полвека спустя после своей гибели Георгий Эфрон не просто разоблачит клеветников матери, но и впрямую, на правах живого участника диалога, на их лицемерное и своекорыстное «поэту позволено то, что не разрешено обычному человеку», ответит, что Марина Цветаева — такая неординарная во многом и многом — в своих материнских чувствах и проявлениях, в вы­страивании своих отношений с мужающим сыном была именно «обычным человеком», вела себя, к большому неудовольствию сына, как «рядовая мещанка», прогрессивной позиции открытого обсуждения трудной темы предпочитающая целомудренную традицию умолчания.

Таким образом, перчатка клеветникам, «тайнораскрывателям» Марины Цветаевой, брошена самим Муром. Но реакции никакой, и через год после издания «Дневников» читаем размышления (в клозете!) вымышленного героя-любовника Евгения, и как бы тоже о Цветаевой и о Георгии:

«Боже, почему тут так грязно? Дернув ржавую проволоку, которая свисала с треснутого, подтекающего бачка, он сделал усилие над собой, чтобы смыть из памяти этот запах и этот срач — такое привязывается и потом долго живешь внутри запоминающейся картинки.

Забил ее, подумав о Марине.

Выпроваживает?

Почему?

Не хочет, чтобы он пересекся с ее сыном?

Если так, то выскакивает новое “почему?” И это захотелось узнать... Когда-нибудь...»14.

Воздерживаясь от комментариев относительно повести Ольги Новиковой, относительно правомерности легшего в ее основу приема вымысла о реальном и дорогом в нашем прошлом (ибо это увело бы разговор в сторону от непосредственной моей темы), не удержусь, однако, от своего личного — выскакивающего — «почему», точнее, от целого ряда напрашивающихся вопросов:

Почему так грязно поминают ныне Марину Ивановну Цветаеву?

Чем не устраивает она — *настоящая* — сегодняшнего читателя, прозаика, драматурга, режиссера, исследователя?

Почему наперекор доступной нам правде о ней (а ею помимо стихов, поэм, пьес, мемуарной, автобиографической и теоретико-литературной прозы оставлено так много записей, писем, воспоминаний, самоаналитических заметок, которые дополнились теперь еще и дневниками сына, проливающими свет на последние ее земные годы, когда сама Цветаева записей почти не вела) снова и снова плетутся вокруг ее имени легенды, похожие скорее на сплетни, и нравоучения, граничащие с приглашением на казнь?

Почему и теперь, как в 1938 году, когда сделана Цветаевой эта запись, мы даем ей повод сказать: «Мое последнее чувство от людей будет — горечь: незаслуженность обиды»15 ?

Вынужденно оставляя эти (отнюдь, однако, не риториче­ские) вопросы открытыми, ожидающими ответов, обращусь к*были*цветаевского материнства и к *правде*цветаевской смерти. А между ними есть несомненная связь, и, как бы предчувствуя это, Марина Цветаева еще весной 1925 года, 10 марта, написала: «Если бы мне сейчас пришлось умереть, я бы дико жалела мальчика (Мур родился 1 февраля, и было ему тогда месяц с небольшим. — *Т.Г.*), которого люблю какою-то тоскливою, умиленною, благодарною любовью. Алю бы (дочь Ариадну. — *Т.Г.*) я жалела за другое и по-другому. Больше всего бы жалела детей, значит — в человеческом — больше всего — мать»16.

О том, как подтвердились последние слова этой записи 31 августа 1941 года, разговор впереди, а пока посмотрим на интервал, обозначенный двумя датами (1925 — 1941), глазами матери и сына.

4. «Черновики материнства»

Апрелем 1925 года (Муру около трех месяцев) датирована такая запись:

«Есть элегическое материнство, лирическое. Черновик — под ключ! И есть чревное, черновое: пеленками в нос.

(Проще: вежливое — и невежливое. 1933 г.)

Пеленки: черновики материнства (младенчества)»17.

Цветаевой на долю выпали оба вида материнства: младенчество и раннее детство старшей дочери Ариадны подарило ей лирическое материнство, с рождением второй дочери, а потом и сына она узнала материнство «черновое», «невежливое». И первое и второе она умела романтизировать, наполнять *всей* собой: собой — поэтом, собой — мыслителем, собой — дочерью века. Оттого ее любовь к детям (здесь говорю об Але и Муре; с Ириной случай особый, и он тоже настоятельно требует уяснения; надеюсь, наступит время для разговора и о нем), будучи вдохновенной, щедрой, заботливой и жертвенной, никогда не была слепой. К ее материнской любви можно без всякой натяжки отнести слова из письма к Юрию Иваску: «…Чувство у меня всегда было умное, т.е. зрячее…»18.

Если под «черновиками материнства» понимать не только «пеленки», включающие — в расширительном своем смысле — всю повседневно-многолетнюю бытовую изнанку материнства, но и умственно-аналитическую «изнанку» родитель­ского чувства, то окажется, что из сохранившихся свидетельств этого «черновика» встает почти изнутри увиденный, зорко подмеченный психологический портрет Мура, которого при всей нелицеприятности своего умного взгляда Цветаева не только в младенчестве, но и до конца своих дней любила, полагаю, все тою же «тоскливою, умиленною, благодарною любовью».

Тбк понятый «черновик материнства» прочитывается в ряде писем Марины Цветаевой. Для краткости выберем в интересующем нас плане наиболее, пожалуй, выразительные из них — сравнительно недавно найденные и опубликованные письма Цветаевой к Наталье Гайдукевич. И суммарный, если можно так выразиться, портрет Мура, встающий из этих писем, сравним с его собственными дневниковыми записями. Честная, думаю, получится проверка материнской проницательности.

Письма к Наталье Гайдукевич по-особому открыты теме цветаевской семьи, что вполне психологически объяснимо: писались они человеку из другого мира, незнакомой, располагающей к себе женщине, «окликнувшей» Марину Цветаеву на правах дальнего родства. Сработал эффект «обаятельного попутчика», которому в дороге зачастую рассказывается то, что в привычном кругу общения либо обходится молчанием, либо проговаривается с большой осторожностью. Подтверждением тому — фрагмент 6-го письма, очень откровенного и для нашей темы важного, в конце которого сказано: «Не рассказывайте обо мне (моих горестях) НИКОМУ. Я и Асе (сестре Анастасии. — *Т.Г.*) в Москву не пишу: ненавижу гласность. Я Вам пишу п.ч. Вы меня не знаете — и знаете, п.ч. с Вами я на полной свободе — *СНА*»19.

Итак, через эту переписку происходило заочное, свободное от недомолвок знакомство, и, насколько можно судить по цветаевским письмам, обе женщины, как бы обмениваясь визитными карточками, рассказывали о себе и своих близких.

Так, в первом же своем письме Цветаева интересуется главным и сообщает о себе главное: «Почему Вы в Вильно? Откуда? Где были в Революцию? Есть ли у Вас дети? У меня — 20летняя дочь и 9летний сын: Ариадна и Георгий: Аля и Мур. Мур — весь в меня». И чуть дальше, опровергая возможность своего *не*-ответа на искренний человеческий зов, который она услышала в издалека донесшемся голосе Н. Гайдукевич, Цветаева пишет: «Я могу не отозваться только на подделку, только на “литературу”, только на непонимание, т.е. обращение ко мне как к “литератору”. Я — *не* литератор: я живой человек, умеющий писать <…> Я отзываюсь только   
на *я*»20.

И в этом отклике «живого человека» на «я» неожиданной корреспондентки Цветаева в продолжение темы детей довольно скоро скажет: «Дочь — не в меня <…> она целиком всемью отца». А о Муре к первой лаконичной характеристике уточнительно добавит: «…Сын — *мой* — только по *силе*, но наполнение ее — другое: *не*лирик. Мой сын — побег моей силы, не моей *сути*: ветвь, имеющая далеко отойти и покрыть своей тенью *другую*землю»21.

Это, пока достаточно туманное, обозначение несхожести Мура с собою будет Цветаевой в дальнейшей переписке детально расшифровано и попунктно определено. То есть не эмоциональное переживание отличий сыновней «силы» от своей собственной стояло за признаниями матери, а доподлинное *знание*его натуры, которая уже в девятилетнем мальчике не оставляла особого места для надежд на благоприятную трансформацию, к чему Цветаева тем не менее прикладывала доступные ей усилия.

Чтобы показать это, необходимо сделать большую выписку из письма, датированного 29 сентября 1934 года, того самого письма, в конце которого Цветаева просит «не рассказывать НИКОМУ» о ее горестях. На самом деле его надо было бы привести целиком, но за невозможностью такой объемной цитации ограничусь самыми важными фрагментами, отсылая заинтересованного читателя к полному тексту:

«Милая Наташа, давайте помечтаем — о лете <…> В июле я наверное опять уеду на какую-н<и>б<удь> недалекую ферму — для Мура, из-за Мура, и не только для здоровья — *длядуши*, уже *опасно*-городской и иссушенной зрелищами: сменой реклам, воззваний, витрин, всем тем даровым и развращающим хламом *стен*, заслоняющих — суть.

*Может быть* мне — ничего не удастся, ибо растет явно-современной и в меня только *силой* — человек: неуязвимый. Неуязвима и я, но только потому, что через всйуязвимость — прошла: от всйчувствия, а не от нечувствия. Оттого — что этой стены (рекламной, тюремной) *не* вижу: вижу сквозь нее: ее — просто нет: есть я и вещь, без средостения. Я ее *взглядом* валю! (Но как — ненавижу: заклеенную, заплеванную, с отпечатками всех вожделений!) А для Мура это — рай: — “Ма-ама! Новая реклама! Ма-ама! Новое “avis”. Словом, как в моей давешней вещи о Лозэне:

— Все, все ему по нраву — лишь бы ново!

И единственный отвод — *коровы*. (В письме от 24 июня Цветаева писала, что Мур “непременно хочет увидеть *живую* корову”. — *Т.Г.*) А я, Наташа, в детстве коров не любила, в деревне не коров любила, а — деревья: собственную душу. А зрелища (все, на что надо *глядеть*) с младенчества ненавидела <…> Как ненавидела — играть, считая это позором и глупостью <…> Оттого я всю жизнь была *одна*(и в любви), с человеком любила только разговаривать — и ходить, большими шагами по большой природе. Мне от всего иного было невыносимо — *скучно*и *глупо****.*** И это с тех пор как себя помню. И в Муре — ничего не узнаю. У него две страсти: УЧЕНИЕ и РАЗВЛЕЧЕНИЯ: две мои контр-страсти, ибо я и учиться — ненавидела, никогда ничему не училась, ничего не изучала, чту знаю — пришло само: от *вживания* в вещь, от *сращения* с ней. Так знаю Гете, Наполеона, женский XVIII век, а теперь — Норвегию, и м.б.единственное, чту я знаю — человеческую душу: сильную и уединенную. Газетами всю жизнь брезговала, а Мур — из них *пьет*,и я *ничего* не могу поделать, ибо наш дом завален газетами, и нельзя *весь*день — рвать из рук. У него *дивная* детская (юношеская) библиотека, *лучшие* книги — франц<узские>и русские — но он перечитывать *не*любит: — “я уже два раза читал”, он не *живет* в книге, он по ней скачет, ее ест — и дальше. А “дальше” — авантюрные романы, либо в руках, либо в глазах (витринах), и весь словарь оттуда, с “кровь хлестала (какая гадость!) из его разбитого черепа” — сплошные тирады вроде школьных. Я *одна* борюсь, и *одна* с ним бы справилась, но я *не* одна, а отец *все* позволяет: во-первых — так спокойнее, во-вторых — он сам целиком поглощен общественностью, *весь* в газетах, а “авантюрные романы — это детская романтика”. А Муру 9 1/2 лет. Поймите меня: как *мне* быть против — Авантюры? Но с *большой* буквы, из *первых* рук: Ж. Верн — да, Дюма — да, но не “их имена суть многи”, *не* макулатура для наживы — писак и издателей. Мур пьет помои — и я должна смотреть. Ибо как только я — слово, отец: — “Вы — тиран, Вы портите ему детство, Вы — жандарм, Вы не даете ему дышать…” и т.д. *При нем.*Отсюда уМура род снисхождения ко мне: — Бедная мама, Вы всего этого не понимаете! (Ни газет, ни техники, ни спорта, ничего, чем он живет.) Не понимая, что это моя *сила*, а не слабость, ибо “понять” теннис или очередную разрезанную женщину или оче­редное падение провалившегося министерства — не хитру. Но я всего этого знбть не хочу! А Мур, с соболезнованием: — бедная мама! С утра до вечера он меня *судит*: по мелочам и по крупному: и не так воспитываю, — “всего боитесь: смешно!” <…> *и пишу так, что никто не печатает,*и не хочу поднять головы на очередной (валящийся на нее!) аэроплан, словом “несовременная” и *завтра*скажет: “неинтересная” <…> Ни малейшего давления я на него с его рождения — и будучи с ним непрерывно — не оказала. Он — готовый человек с готовыми вкусами — и пуще. *Вижу* безнадежность — и все-таки борюсь — за себя в нем. И — не добьюсь»22.

Исключительно важна констатация: «У него две страсти: УЧЕНИЕ и РАЗВЛЕЧЕНИЯ», а также напоминание о том, что для самой Цветаевой это «контр-страсти». Собственно, все пункты контрпозиции двух характеров (матери и сына) исключительно важны.

И финал процитированного отрывка, общий вывод («*Он* — *готовый человек с готовыми вкусами*»), который, полагаю, может вызвать серьезные возражения у людей, безоговорочно верящих в сущностное (а не только внешнеповеденческое) воспитание и перевоспитание и недооценивающих от роду явленный *характер*, — тоже исключительно важен, особенно вкупе с безнадежными, заранее обреченными попытками отвоевать у данности этого характера что-то значительное.

У Цветаевой — по ее собственному признанию, «абсолютной фаталистки» — в отношении «готового человека» не было (совершенно, по-моему, справедливо) никаких сомнений, и отнюдь не только в случае Мура. В одной своей статье она заметила — как о чем-то очевидном: «Есть дети, которые рождаются с готовой душой»23. Она и себя относила к таким детям, о чем недвусмысленно сказано — в сопоставлении с Сергеем Эфроном — все в той же переписке с Гайдукевич: «Я, когда выходила замуж, была (впрочем, отродясь) человеком сложившимся, он — нет, и вот, за эти двадцать лет непрерывно­го складывания, сложился — в другое, часто — неузнаваемое»24.

 Но если предугадать конечный пункт многолетнего «непрерывного складывания» человека — дело в высшей степени непростое (а остановить этот процесс — и вовсе невозможное), то узнать в сыне *свой тип* изначально «сложенной» натуры вряд ли представляло для Цветаевой трудную задачу, и девяти лет ежечасного общения с Муром на ее решение было более чем достаточно.Но, вероятно, тяга к соприродному человеку внутри семьи (а таковым мог оказаться только Мур, ибо Аля — «целиком в семью отца», а отец, Сергей Эфрон, воплощение «другого», *не ее* склада), а также невозможность мириться с самыми резкими чертами этой «сложенной» изначально натуры были так велики, что, непреложно понимая уже чужеродность «наполнения» сыновней «силы», Цветаева не оставляла тем не менее попыток борьбы «за себя в нем».

Об одной из таких попыток она рассказала, придавая тем самым этому эпизоду серьезное, отнюдь не проходное значение, Наталье Гайдукевич: «С<ережа> уронил что-то под стол и шарит (он *очень* высокий, а в кухне тесно). Мур, не дрогнув, продолжает есть. Я: — Мур, подыми же! Как же ты можешь сидеть, когда папа ищет? С<ережа>, перестаньте искать! — С<ережа> искать не перестает, а Мур спокойно продолжает есть — и сообщать последний фельетон из Посл<едних> Новостей. Ни слова — мне в подтверждение, и как часто — мне в посрамление»25.

И еще одно — последнее, резюмирующее — признание, передающее не попытку даже, а окончательное осознание полной тщетности всех воспитательных усилий:

«Только что проводила мужа, прогостившего у нас неделю <…> И вот, проводив, вижу — насколько для меня чужая радость действеннее —*радостнее* — собственной <…>

Он за эти семь дней — помолодел, поздоровел, подобрел, все городское — отпало, купался с упоением, как Мур, не мог нарадоваться волне — тишине — водорослям — песку — всему — каждому шагу и виду, каждой минуте дня.

<…>А Мур об отце не скучает. И это ужасно. (Я отродясь скучавшая обо всех! Не — *без* всех, *обо*всех: тоска как устремление, нет: СТРЕМНИНА! как основной двигатель.) Отец его безумно любит и был с ним — нежнее нельзя, добрее нельзя, *все* исполнял: задарил. (Посильно!)

Чту это за *беспощадное*поколение!

Вот он — новый человек.

*БОЮСЬ* его.

Нужно все отдавать детям без всякой надежды — даже на оборот головы. Потому что — нужно. Потому что — иначе нельзя — *тебе*.

Мур *не* будет ходить на мою могилу. (Неприятно. Зачем? Все равно, там никого нет. И т.д.)

Физическая энергия — и головная. (Силен и умен.) А — душа?? Где? Когда?»26.

Это последнее (12-е по счету) письмо датировано 14 августа 1935 года. Значит, таким видела, таким *знала* Марина Цветаева своего сына, когда тому шел одиннадцатый год. *Такого* Мура, несмотря ни на что, бесконечно любила. *Таким* ощущала, несмотря ни на что, материнский свой долг. А в 1939 году добавила к сказанному здесь: «Я своего ребенка *обязана* любить больше своей чести» (очень выразительный, согласимся, курсив, особенно в воссозданном здесь контексте).

Подтверждают ли «Дневники» Мура, и если да, то в какой степени подтверждают очерченный матерью психологический портрет, я попробую показать чуть ниже. А пока — еще раз обращусь к статье М. Духаниной, последняя страничка которой посвящена размышлениям о судьбе Георгия Эфрона. «Внутренне он был, — пишет Духанина о Муре (с этого, собственно, как с самоочевидного и начинает главку), — невероятно близок Цветаевой, которая воспитывала его по своему образу и подобию, частенько называя сына “Марин Цветаев” (имея, впрочем, в виду *внешнее* сходство. — *Т.Г.*). Не большим преувеличением будет сказать, что последние годы жизни она провела в обществе — самой себя»27.

Оставим в стороне неуклюжесть самого высказывания, не будем оспаривать и очевидную его несправедливость, граничащую с очередной «благоуханной легендой», а зададимся «выскакивающим» вопросом: знакома ли М. Духанина с письмами Цветаевой к Н. Гайдукевич? Скорее всего — да, ведь   их первое издание стало прямо-таки сенсацией цветаевского 110-летия. Но тогда возникает другой вопрос: имеет ли исследователь право игнорировать напрямую относящийся к его теме документ, содержащий собственное (и не одно!) свидетельство Цветаевой как раз об обратном (вспомним все контр-позиции характеров матери и сына)? Или ее свидетельство не заслуживает духанинского не только доверия, но и внимания? Но зачем тогда вообще обращаться к личности и творчеству Цветаевой? Чтобы все сместить и переиначить?

Невольное, полагаю, смещение происходит и в книге Виктории Швейцер — авторитетного, общепризнанного биографа Цветаевой. Ибо в главе «Сын» она может написать, например, так: «Чем больше я узнаю о Георгии Эфроне, тем сильнее крепнет во мне убеждение, что никто не знал и не понимал его так хорошо, как мать. Материалы, появившиеся за последнее десятилетие, полностью поменяли мое представление о сыне Цветаевой: свидетельства о его неприятном характере, эгоизме, грубости — лишь шелуха, из которой выступают трагиче­ское лицо и судьба одареннейшего мальчика…»28

Да, но Цветаева, *действительно*хорошо знавшая и понимавшая сына, отнюдь не считала, как мы могли убедиться, эгоизм Мура, его душевную пустынность всего лишь «шелухой». И пыталась хоть как-то с ними — нутряными, а не наносными — бороться, хоть в какой-то мере их преодолеть. А в интерпретации В. Швейцер получается с точностью наоборот: «Цветаева вырастила сына эгоцентриком, таким он оставался, так вел себя с окружающими <…> Его не научили простой соседской близости с людьми, не воспитали привычки к общению и взаимопомощи на ежедневном бытовом уровне. В результате цветаевского воспитания Муру приходится (после смерти Цветаевой. — *Т.Г.*) в одиночку бороться за жизнь — сам себе добытчик, семья, мать»29.

Словом, все дело только в «цветаевском воспитании», и никаких скидок на «готового человека», равно как и на воспитательные принципы Сергея Эфрона. Особенно удивляться тут не приходится: В. Швейцер из тех, кто в открытую называет Цветаеву «плохой матерью». Так, во всяком случае, было написано в книге «Быт и бытие Марины Цветаевой», изданной в 1988 году. В новом издании, правда, формулировка смягчена — «трудная мать».

Где, однако, критерий «хорошего» и «плохого» материнства? Результат, явленный в выросших детях? Но двое детей Цветаевой — Аля и Мур — являют собой разительно разный результат. Как с этим быть? И как быть с влиянием второго родителя, который в воспитании (идейном, во всяком случае) обоих детей сыграл роковую роль?

Может, стоит вернуться — не абсолютизируя его, конечно же, — к врожденному типу личности? И внимательно вглядеться в самые ранние фотографии старшей дочери и сына Марины Цветаевой? Думаю, многое прояснилось бы, поступи мы именно так. А еще стоило бы вспомнить, что инстинктом материнства Цветаева была наделена сверх меры. В непомерности своей он захлестывал совсем иную, не родительскую сферу — сферу любовности (стихотворение «Раковина» и цикл «Стихи сироте» — далеко не единственное, но достаточное тому подтверждение) и оттого приводил к плачевным «разминовениям» в обеих сферах. Мне уже доводилось писать об этом30 и здесь добавлю только одно: если уж непременно надо давать определение материнству Марины Цветаевой, то стоило бы — для начала поразившись тому, что при «всесожигающем» поэтическом даре, в смутно-катастрофические свои времена она родила и растила трех детей, — признать его *трагическим материнством*. Это правильно характеризовало бы и всю его протяженность, и самый его финал, добровольной смертью Цветаевой обозначенный.

До ее смерти оставалось ровно полтора года, когда Георгий Эфрон начал вести первый из сохранившихся и ныне изданных дневников. Какие характеристики, данные матерью в его 9—10-летнем возрасте, подтвердились в записях 15—16-летнего сына?

Ну, во-первых, несомненный ум и столь же несомненнаяаналитичность этого ума. Интуитивных прозрений в его записях я как-то не заметила. Как любой аналитик, он спотыкается там, где обрывочность или некачественность информации мешают логической строгости выводов, делая их неверными и наивными — по-детски или по-советски. Так происходит в рассуждениях Мура о судьбе сестры и отца. В вопросах международной политики, напротив, Мур проницателен, как мало кто из взрослых: тут «база данных», обширная и несравненно более реалистичная, вобравшая знания дороссийского еще периода, дает возможность изумляющих порой прогнозов и комментариев. Для него, например, не было никакого секрета в том, что Москва напряженно готовится к войне и в этой войне (против Германии или всей Европы, хотя, впрочем, он настаивал на том, что Англия и Франция не вступят в союз с Германией) несомненно победит.

Две страсти Мура — «учение и развлечения» — тоже остались при нем, может быть, стали даже еще сильнее. А главное — это были слепые страсти, никак не соотносящиеся с реальностью их с матерью существования. В своих записях он все время сетует на скучную, ненаполненную жизнь. Но в ней были и театры, и концерты, и литературные вечера, и выставки, и библиотеки, и прогулки по городу, и походы по магазинам, в том числе книжным, и посещение стадиона, кинотеатров, и сидение в кафе, и такие любимые лакомства…

В подтверждение — хотя бы такая запись (выбор, впрочем, большой): «Предполагаю разместить цикл развлечений следующим образом: сегодня иду к Лиле, где быть может, хорошо поем и, возможно, встречу Кота. Завтра иду на “Ревизора”.    8-го или 9-го иду с Митькой на выставку “За 23 года живопись, графика, скульптура”, 10-го иду на M-meBovary. 11-го иду на Журавлева (все это совместно с Митькой)» (с. 269).

Так ли уж мало для школьника? Для мальчика из семьи, попавшей в беду? Из семьи, где двое арестованы, а мать разрывается между поисками жилья и зарабатыванием денег на это жилье и на все прочее, между изнурительными переводами, которые дают хоть какие-то средства, и не менее изнурительным ведением полунищего хозяйства, между обреченными на неудачу ходатайствами об арестованном муже и регулярным хождением по тюрьмам с вещевыми и денежными передачами двум близким людям — мужу и дочери. А еще постоянная угроза выселения и переезда, а еще постоянный страх за арестованных, а еще… Да мало ли что еще тяготило и изводило в эти годы Марину Цветаеву, почти совсем переставшую писать *свое* и неотступно «примеривавшую смерть».

А сыну тем временем все не хватало развлечений, в число которых он включал и школу: «Школа действительно меня развлекает…», — записывает он 1 июня 1941 года. И в тот же день снова сетует на скуку своего времяпрепровождения: «Моя жизнь курьезно неинтересна. Авось когда-нибудь все это изменится, и я буду веселиться, флиртовать и т.п.» (с. 353, 354).

Если взглянуть на недостаточные, по его меркам, развлечения Мура с этой стороны, то неизбывная тяга к ним действительно покажется слепой, только себя видящей и чувствующей, страстью. Так ли смотрела на это Марина Цветаева, сказать с точностью невозможно, но вот свидетельство самого Мура, которое многое в этом вопросе проясняет: «Мать часто говорит, что я совершенно бездушен, что у меня нет сердца и т.п.» (с. 275).

Значит, в силе остались не случайно сорвавшиеся с пера в 1935 году слова Цветаевой о Муре: «Физическая энергия — и головная. (Силен и умен.) А — душа?? Где? Когда?» И не толь­-ко они. К великому сожалению, в сыне оправдался и дру­гой материнский вердикт — «чту это за *беспощадное* поколение!»

5. «ЧтУ ЭТО за *беспощадное* поколение!»

В июне 1941 года к бедам цветаевской семьи добавилась беда всей страны — началась война. Говорят, что общие беды, задевая практически всех, сближают людей, смягчают души, оборачивают взгляд к ближнему. После 1990-х годов, проведенных в холодном, темном (электричество давали на два часа в сутки и, как правило, не в вечернее время; улицы совсем не освещались), полуголодном и полувоенном Ереване, я доподлинно знаю: не напрасно говорят — так оно в подавляющем большинстве случаев и бывает. Мур, однако, в это большинство решительно не вошел. *Разделить* с матерью тяготы времени и обстоятельств он и в экстремальных условиях начала войны не захотел или не смог.

Вот фрагмент записи от 26 июня: «Ситуация наша с матерью довольно-таки беспокойная: деньжат никаких, куда мы поедем — неизвестно, странные телефонные звонки («вызов по телефону из НКВД». — *Т.Г.*), все это не блестяще. Что ж, увидим. Я стараюсь жить веселее, чем когда-либо» (с. 399). Можно было бы воспринять это признание как беспомощную мальчишескую браваду (отчасти она таковой, конечно, и является), как некий индивидуально-юношеский проект пира во время чумы, если бы, к сожалению, позиция эта не стала руководством к действию. Разумеется, жить «веселее, чем когда-либо», ему в эти месяцы (июль-август) не удалось. Но и менять свои привычки и потребности, соотносить их с реальностью войны он не пожелал (не сумел). Похоже, что в душе его так и не возникло ощущения необходимости и не­избежности каких бы то ни было *личных, личностных* перемен.

Вот появилась возможность передышки, и 8 июля Мур описывает эту соблазнительную перспективу:

«Кочетков приглашает нас поехать на его дачу <…> Конечно, было бы очень хорошо туда поехать на лето, в 2 ч. от Москвы: там отдых, жизнь на чистом воздухе, река, катанье на лодке; без бомбардировок, тревог и бомбоубежищ» (с. 433). Словом, курорт, да и только. Понятно, что на деле все должно было обернуться несколько иначе. И уже 13 июля, сразу после переезда на дачу, появляются первые признаки неудовольствия: «Поезда набиты битком и отвратительны, жара ужасающая. Наконец мы на месте, это главное. Здесь очень приятно, воздух замечательный, мы приходим в себя. Повсюду зеленые поля, поют птицы, словом — деревня <…> Однако жратвы маловато, с питанием здесь плоховато. В этом отношении в Москве лучше <…>Что нехорошо? То, что, конечно, в смысле обстановки, деревня гораздо лучше города; если есть друзья или флирт, то можно гораздо лучше проводить время (развлекаться то есть. — *Т.Г.*) в деревне, чем в городе (летом). Ведь в деревне можно шататься, купаться, и есть тысяча других возможностей. Но в этой замечательной обстановке из интересных людей, возвышающих красоту местности, — только я один. Например, я был бы в тысячу раз счастливее, если бы Валя и Митя были тут» (с. 445).

Оставим в стороне тему девушки (Вали) и друга (Мити), она в шестнадцатилетнем возрасте естественна, хоть и чрезвычайно настойчива: все последующие «дачные» записи будут переполнены ею. А вот тему «жратвы» (ни разу до сего момента жалоб на нее в «Дневниках» не было; значит, несмотря ни на какие трудности, Цветаевой удавалось обеспечивать и необходимое, и развлекательно-приятное: мороженое, пирожное и пр.) и присоединившуюся к ней вскоре тему «школы» (с неотвратимой календарной привязкой к 1 сентября) нам придется до конца проследить.

***Из записи от 16 июля:*** «Из рук вон плохое питание: гречневая каша, похлебка, черный хлеб <…> Здесь — отвратительная скука. Старушки, говорящие о милых пустяках, плохо организованное питание, кошки, птички и комарики: к чортовой матери! Надоело! <…> Очевидно, в этом году школы будут функционировать — раз положение на фронтах как будто хорошее» (с. 450, 451).

***Из записи от 17 июля:*** «Скука здесь. Потеря времени и совершенно нечего делать. Валяешься, читаешь, шляешься на станцию, ешь невкусную пищу… Скука <…> Конечно, я сильно надеюсь на то, что к 1 сентября занятия в школах начнутся» (с. 455).

***Из записи от 18 июля:*** «Льет дождь, гулять нельзя, скука и однообразная пища, совсем не питательная <…> Здесь каждый взвоет от скуки. Добро бы питание было хорошее. Но оно просто плохое <…> Конечно, большой вопрос — это то, будет ли школа в Москве в сентябре — к 1 сентября? Загадка, конечно» (с. 456, 457).

***Из записи от 21 июля:*** «А школа? Неужели не удастся в этом году учиться и среднее мое образование полетит к чорту? Мать тут бы сказала: “не до этого сейчас”. Противно то, что в точности предвидишь каждую реакцию, каждый ответ, и все кажется плоским необычайно» (с. 471).

Здесь мне придется на время прерваться, ибо дальше (с 24 июля) была Москва, были бомбежки, была паника, были пред­эвакуационные метания, ожесточенные споры матери с Муром, который категорически не хотел уезжать из Москвы, бесконечные хлопоты и наконец — внезапное все-таки отплытие на пароходе «Александр Пирогов» в Елабугу. Обо всем этом достаточно написано биографами Марины Цветаевой. Поэтому повторяться не имеет смысла, лучше вытянуть главную, на мой взгляд, нить из запутанного этого клубка и проследить дальнейшее развитие двух вышеозначенных тем «Дневников» Мура. Итак:

***Из записи от 5 августа:*** «Я не ожидал от матери такого маразма. Она говорит, чтобы я “не обольщался школой…” У нее — панические настроения: “лучше умереть с голоду, чем под развалинами”. Она говорит, что будем работать в колхозе. Идиотство! <…> Пусть вносит 85 рублей, — ехать я отказываюсь категорически. Жертвовать моим будущим, образованием и культурой не намерен <…> Все эти бесконечные решения мне надоели бесконечно — <это> ведет только к тому, что мать не работает, комната грязная, и питаемся в столовых Гослита или просто в столовках» (с. 482).

***Из записи от 8 августа:*** «Окончательное место назначения — город Елабуга, на реке Каме. Население: 15000 ж. Говорят, там есть русская школа <…> С палубы видна река, все. В смысле жратвы — хлеб с сыром, пьем чай. Мне на вопрос жратвы наплевать. Но чем будет заниматься мать, что она будет делать и как зарабатывать на свою жизнь?» (с. 484).

***Из записи от 9 августа:*** «Что будет делать мать? Где она будет жить в связи со своей работой: в Елабуге или в Казани? Есть ли десятиклассная школа в Елабуге? <…> То что я хочу, так это во что бы то ни стало учиться. Если уж я уехал из Москвы, так не для того, чтобы потерять целый год учебы в средней школе. Я ни в коем случае не могу терять времени <…> Самый жизненный вопрос — это деньги <…> Поэтому главный вопрос — вопрос работы для матери, чтобы обес­печить “жилье и питание”, да и плату за мою школу» (с. 486, 487).

***Из записи от 11 августа:*** «Моя цель — учиться в любой школе этот учебный год. Я для этого сделаю все. Бросив Москву, я не теряю своей настойчивости в достижении своих пожеланий. Почему я хочу продолжать учиться? Разве я интересуюсь предметами учения? Ничуть. Я просто считаю, что учиться в школе будет для меня лучшим возможным время­препровождением <…> Надо же, чтобы я где-нибудь учился» (с. 492).

***Из записи от 14 августа:*** «Говорят, в Елабуге много продуктов, жратвы <…> Если с Казанью провалится, что ж, тогда можно будет сказать, что мы сделали все, чтобы попытаться устроиться, зарабатывать и учиться в Елабуге» (с. 501).

***Из записей от 18–19 августа:*** «Самое вероятное то, что мы поедем в Чистополь <…> Возможно, что нас в конце концов устроят в Казани <…> Но надо будет, чтобы наши переезды, какие бы они ни были и куда бы мы ни переезжали, закончились к первому сентября. Так как я серьезно намерен поступать в школу во что бы то ни стало <…> В Елабуге замечательное медовое мороженое» (с. 516, 520).

***Из записи от 22 августа:*** «Теперь нужно совершенно ясно, чтобы мать поехала одна, без вещей, в Чистополь <…> Она там все разузнает насчет прописки, работы, комнаты. Если же ей не удастся там устроиться, то пусть она постарается как-нибудь устроить меня туда учиться (в интернат, как-нибудь). Мне в Елабуге совершенно нечего делать» (с. 526).

***Из записи от 24 августа:*** «Я матери дал такой наказ: в случае если ей там не удастся устроиться — нет работы, не прописывают, то пусть постарается устроить хоть меня: пионервожатым в лагере ли, или что другое, но основное для меня — учиться в Чистополе. В конце концов, попытка не пытка <…> Настроение у нее — самоубийственное: “деньги тают, работы нет”. Оттого-то и поездка в Чистополь, быть может, как-то разрядит это настроение <…> Сегодня утром пошел на базар и стоял два часа в очереди за медом. Ничего не получил — не хватило. Жалко (не очень, впрочем) <…> Сегодня — ем в столовой. Нужно купить масла будет. А для того, чтобы достать меду, — встать в 5 часов» (с. 531, 532).

***Из записи от 25 августа:*** «Сегодня утром под страшным дождем купил масла <…> Сегодня же пил чай с медом — не так плохо, н-да? Мед одолжил Сикорский <…> А шикарно — чай с медом! Получается как-то экзотично <…> Веду растительную, бездельную жизнь: хорошо ем, читаю, ни шиша не делаю. Иногда неплохо так пожить. Очень скоро этот период пройдет — как только мать вернется из Чистополя, очевидно <…> Завтра нужно будет купить хлеба. Привык к черному хлебу — пришлось, хочешь не хочешь <…>Через 9 дней — начало занятий в школе. Буду ли я учиться или нет? Вот в чем — для меня — вопрос» (с. 532, 533).

***Из записи от 26 августа:*** «Вся моя теперешняя жизнь протекает под неким символом: знаком вопроса. В самом деле, например, уже 3-го сентября начнутся занятия в школах, а я еще не знаю, буду ли учиться. Думается мне приблизительно так: останусь в Елабуге — буду работать, в Чистополе — учиться. Одно из двух. Только что вернулся из столовой, где сытно пообедал (трачу на еду, с разрешения матери, в день 6 рублей, а тут еще нашел завалявшиеся в кошельке 3 рубля)» (с. 535).

***Из записи от 30 августа:*** «Вчера к вечеру мать еще решила ехать назавтра в Чистополь. Но потом к ней пришли Н.П. Са­конская и некая Ржановская <…> Ржановская рассказала ей о том, что она слышала о возможности работы на огородном совхозе в 2 км отсюда — там платят 6 р. в день плюс хлеб, кажется. Мать ухватилась за эту перспективу <…> Сейчас она пошла подробнее узнать об этом совхозе. Она хочет, чтобы я работал тоже в совхозе; тогда, если платят 6 р. в день, вместе мы будем зарабатывать 360 р. в месяц. Но я хочу схитрить. По правде сказать, грязная работа в совхозе — особенно под дождем, летом это еще ничего — мне не улыбается. В случае если эта работа в совхозе наладится, я хочу убедить мать, чтобы я смог ходить в школу. Пусть ей будет трудно, но я считаю, что это невозможно — нет. Себе дороже. Предпочитаю учиться, чем копаться в земле с огурцами. Занятия начинаются послезавтра <…> В конце концов, мать поступила против меня, увезя меня из Москвы. Она трубит о своей любви ко мне, которая ее толкнула на это. Пусть докажет на деле, насколько она понимает, что мне больше всего нужно. Во всех романах и историях, во всех автобиографиях родители из кожи вон лезли, чтобы обеспечить образование своих отпрысков. Пусть мать так и делает. Остаемся здесь? Хорошо, но тогда я ухвачусь за школу. Сомневаюсь, чтобы там мне было плохо. Единственное, что меня смущает, — это физкультура <…> Возможно, что мой проект со школой провалится — впрочем, по чисто финансовым соображениям <…> Я не хочу опуститься до того, чтобы приходить каждый день с работы грязнющим, продавшим мои цели и идеалы. Просто школа — все-таки чище, все-таки какая-то, хоть и мало-мальская, культура, все-таки — образование <…> Нет, все-таки мне кажется, что, объективно рассуждая, мне прямая польза ухватиться за эту школу обеими руками и крепко держаться за нее <…> Если я буду учиться в школе, то нужно в эту школу пойти, узнать насчет платежа, купить учебники <…> Главное — все время меняющиеся решения матери, это ужасно. И все-таки я надеюсь добиться школы. Стоит ли этого добиваться? По-моему, стоит» (с. 538, 539, 540).

После последнего пропуска в цитате идут последние слова, вписанные Муром в дневник до самоубийства матери. Дальше (запись от 5 сентября) пойдет скупой рассказ о случившемся и текст трех предсмертных записок Марины Цветаевой. Школы, в конце концов, Мур добился. Но совсем не так, как ему представлялось…

6. «Я, когда буду умирать, о себе подумать   
не успею»

«Дневники» Георгия Эфрона позволяют — с очень высокой долей вероятности — понять, почему покончила с собой Марина Цветаева и почему именно 31 августа свела она счеты с жизнью. Понимание это (четко, без эвфемизмов, проговоренное) неизбежно бросает тень на сына. Наверное, поэтому никто (включая и подготовивших к изданию «Дневники» Е. Коркину и В. Лосскую, которые не могли не знать, какой материал вводят они в читательский и научный оборот), насколько мне известно, до сих пор не сказал прямо, чту следует из записей Мура о двух последних месяцах жизни матери. Я не случайно начала статью с того, что для меня важна в первую очередь сама Цветаева — ее личность, ее образ, ее судьба. Значит ли это, что я вижу свою задачу в осуждении ее близких и, в частности, обожаемого ею сына? Конечно же, нет. Больше скажу: говоря о трагическом материнстве Цветаевой, я включаю сюда и судьбы ее детей. Всех троих. Ибо взаимосвязь здесь настолько нерасторжимая, что отделять одно от другого было бы по меньшей мере наивно. А судить… Их не осудила мать. Напротив, она все им простила и заботилась о них как могла до последней своей минуты. Гораздо труднее, вероятно, было им самим простить себя. По крайней мере — Муру, который спустя два с половиной года после смерти матери, в начале 1944 года, студентом Литературного института в нерифмованном своем стихотворении сказал, и, видимо, о себе самом сказал, такие вот горькие слова:

                  И я говорю себе:

– Иди. Путь далек до тихой гавани,

ибо силы нужны, и бодрость и мужество,

чтобы понять и принятьсамого себя.

(как вариант:

чтобы *вынести и простить* самого себя. — *Т.Г.*)

Он ведь мог уничтожить разоблачительный для него дневник. Он этого не сделал. Не подлежащее сомнению свидетельство о последних неделях и о смерти матери он сохранил. Значит, *этого*— после всего случившегося — он себе позволить не смог. И благодаря его мужеству мы можем сегодня восстановить событийную и психологическую картину *конца* Марины Цветаевой. Вот самый беглый ее абрис.

С самого начала войны единственная забота Цветаевой — сохранить жизнь сына, не дать ему погибнуть. И следовательно, у нее две насущные задачи: уберечь его от бомбежек и прокормить. Продолжение учебы в этот насущный минимум (по ее силам на тот момент — недостижимый максимум) никак не вписывается, отсюда сказанные сыну слова: «не обольщайся школой». Выполняя первую задачу, она — против воли Мура, в спешке и панике, очень плохо подготовившись к эвакуации, — увозит его из Москвы. И только тут перед ней со всею ясностью вырисовывается контур второй проблемы. Денег у них мало (по свидетельству Мура, всего 600 рублей). Работу найти не удается («деньги тают, работы нет»). Она отправляется в Чистополь с убийственным для нее «наказом» сына: если не удастся устроиться самой, то попробовать ус­троить там его одного — пионервожатым или в интернат, но с обязательной учебой. Чего стоило одно слово «интернат» в «наказе» сына, не говоря уже о том, что он, предлагая вариант жизни в разных городах, тем самым признавал, что сама она ему больше не нужна, а для нее существование *без*Мура сразу же обессмысливалось.

В Чистополе Цветаевой разрешают прописку и обещают — в дальнейшем — искомое место судомойки. Но до этого надо еще дожить. И надо еще найти силы на переезд и поиск жилья. А в Елабуге какое-никакое жилье есть. А тут и возможность заработка как будто появляется. Но простая арифметика показывает, что ей одной не прокормить двоих — за один обед Мур платит 6 рублей, столько же составил бы весь ее дневной заработок. Но ей тоже надо есть, и за жилье надо платить. А Мур работать в совхозе отказывается, настаивает на школе, которая по деньгам абсолютно нереалистична. Но главное — заработать на пропитание себе и сыну она не может. Зна-  
чит, отказ Мура от работы в совхозе сводит на нет все ее усилия.

И тогда включается другая логика, в основе которой — уход. Причем, в случае ее ухода, возникает надежда и на школу дляМура, на школу, где занятия начинаются на следующий день. Так к обоснованию ухода добавляются и его сроки. Собственно, если вдуматься, решив покончить с собой, Цветаева возвращается к «наказу» Мура, ибо просит Николая Асеева забрать его в Чистополь, позаботиться о его учебе, только вместо «интерната» просит взять его к себе, «*просто взять его в сыновья»*.

В книге В. Швейцер читаем: «Простая женщина Анастасия Ивановна Бродельщикова, хозяйка дома, где повесилась Цветаева, нисколько не осуждая ее поступок, считала, что она поторопилась. “Могла бы она еще продержаться, — говорила она мне. — Успела бы, когда бы все съели…”»31  С точки зрения «простой женщины», действительно, поторопилась. Но для Цветаевой уже не было задачи «продержаться» самой, для нее жить, пока «все съедят», означало ничего не оставить Муру даже на первое — после ее смерти — время. А она думала теперь только о нем, и еще одним свидетельством тому — четко обозначенная в одной из предсмертных записок сумма — «у меня в сумке 450 р.». С каждым следующим днем денег становилось бы меньше. Значит, откладывать дальше было нельзя.

Остается открытым вопрос, откуда бралась у Цветаевой надежда, что Мур, оставшись совсем один, лишившись ее  поддержки, не пропадет. Анна Саакянц склонна видеть здесь не надежду, не последнюю заботу о сыне («со мной ему только хуже»), но «эгоцентризм поэта» (?). Вот как она об этом пишет: «И здесь, в этом последнем своем действии, Марина Цветаева предстает во всей очевидности своей *великой двоякости*, великого эгоцентризма поэта, поступая так, как требовалось именно ей самой. Обожая сына, дрожа за него, как за малого ребенка, она предает, покидая его, сдавая на руки — кому? людям, которых толком не знает, но которым безоглядно и слепо доверяется: семье Асеевых»32. Может быть, успей Анна Саакянц прочесть дневники Мура, у нее нашелся бы другой ответ и другая мотивация цветаевского «последнего действия».

Да и помимо «Дневников», если вспомнить о том, что в прошлом у Цветаевой был уже однажды аналогичный выбор — остаться со своим ребенком или отдать его для его же блага на чужое попечение, — то правомерно будет проследить некую корреляцию между давнишним (1918 год) и теперешним (1941 год) ее решением. Итак, я рискну предположить, что судьба дочери Ирины сыграла свою роль в ситуации, угрожающей, по ее убеждению, жизни сына Георгия.

Елизавета Эфрон в письме к брату Сергею Эфрону пишет, что, полюбив Ирину, привязавшись к ней, как к дочери (девочка провела с ней лето в деревне и явно пошла на поправку), она предложила Марине Цветаевой оставить ребенка у нее и на зиму, а практически — навсегда. Другими словами, матери надо было отстраниться и таким образом выкупить жизнь и благополучие дочери. Здесь не место вдаваться в подробности, письмо опубликовано, и желающие могут его прочесть33. Скажу только, что Цветаева забрала дочь к себе, отказалась от предложенной в такой форме помощи, а зимой 1919 года, не имея возможности прокормить двух дочерей, отдала их на время в Кунцевский приют, где в феврале 1920 года Ирина умерла от голода.

Такое не забывается и не прощается себе никогда. Вот и Иосиф Бродский придерживался подобного мнения. Размышляя о том, почему Цветаева «не отшатнулась» от Сергея Эфрона, зная (с той или иной мерой полноты) о его сотрудничестве с ГПУ, Бродский среди прочих доводов приводит и фактор детей: «Помимо всего прочего — и что для нее куда важней было в ту пору — все-таки трое детей от него; и дети получились другими, не особенно в папу. Так ей, во всяком случае, казалось. Кроме того, дочка, которую она не уберегла, за что, видимо, сильно казнилась — настолько, во всяком случае, что в судьи себя Эфрону не очень-то назначать стремилась…»34  И уж тем более настолько, чтоб не повторять ту старую ошибку.

А ведь *по сути* выбор ей предстоял прежний. Мур настойчиво заговорил (дал «наказ») об интернате (для нее — страшный аналог приюта) как о временной, но необходимой мере; оставить его при себе и обеспечить хотя бы питание она уже не надеялась (силу призрака голода удесятеряла, должно быть, пережитая однажды голодная смерть дочери); оставался, как показалось, единственный путь, отвергнутый когда-то, — передать Мура на чужие руки навсегда, отдать его *в сыновья.* Правда, никто ей в 1941 году такой помощи не предлагал. Но она сочла, судя по принятому решению, что круглое сиротство Мура, а главное  —  ее добровольно-вынужденная смерть станут достаточным основанием для не предложенного *усынов­ления.*

В одном из писем к Гайдукевич Цветаева писала: «…Кроме моей нескрываемой, роковой ни на кого не-похожести оттолк­нули от меня людей моя нищета — и семейность. Нищая — одна — ничего, но нищая — “много”…»35  И вот теперь ценой своей смерти она устраняла это мешающее «много» (пусть только «двое», в военное время этого тоже много). Единственное, что она могла сделать теперь для Мура, — это поставить его в положение «нищего — одного», не без оснований полагая, что ему *одному* помогут больше, чем ей — *для него*.

Кому-то может показаться, что я слишком заземляю, снижаю трагедию цветаевского конца, что понапрасну приписываю ее последним часам элементы прозаического расчета и тем самым перевожу все с бытийного уровня на бытовой. Что на пороге смерти она должна была думать о чем-то другом — возвышенном, быть может, и возвышающем душу. На это возможное обвинение отвечу двумя выдержками из писем Цветаевой, удостоверяющими верную тональность, правильно найденный (почувствованный) регистр моих предположений.

Приведу сначала отрывок из письма к Наталье Гайдукевич, написанного в 1935 году, после операции, перенесенной Муром: «Но — одна беда: почти что нечего есть. Верней: нй на что. Ему после операции нужно поправляться, а у нас в день на обоих — 7 франков при цене — мяса — 7 фр<анков>фунт, помидоры — 2 фр<анка>ф<унт>, яблоки — 3 фр<анка> 50 <сантимов>, и все в таком роде. Здесь — обдираловка. Поэтому сидим на водяных супах и голой картошке. Умоляю, милая Наташа, если только можете, пришлите мне сто фр<анков>— Муру на еду»36. Похоже, не правда ли, на ситуацию конца августа 1941 года — 6 рублей дневного заработка на двоих при цене одного обеда в те же 6 рублей? Хотим мы того или не хо­­-тим, но такова была — вплоть до самого конца — *реальность* ее жизни.

И второй отрывок — из письма Борису Пастернаку, и тоже 1935 года: «…Рильке, Марсель Пруст и Б. Пастернак <…> Между вами, не-человеками, я была только человек. Я знаю, что ваш род — выше, и *муй* черед, Борис, руку на сердце, сказать: О, не вы! Это я — пролетарий. Рильке умер, не позвав ни жены, ни дочери, ни матери. А *все* — любили. Это было печение о своей душе. Я когда буду умирать, о ней (себе) подумать не успею, целиком занятая: накормлены ли мои будущие провожатые, не разорились ли близкие на мой консилиум, и м.б.в *лучшем*, эгоистическом случае: не растащили ли мои черновики. М.б.от того, что буря (как женщина) любит домоводство»37. Такой виделась Цветаевой *реальность* ее смерти, и, хотим мы признавать это или не хотим, такой она и оказалась на деле.

Вплоть до деталей. Кроме разве единственной в этом отрывке роскоши — «консилиума». А в остальном все так: в первую очередь — «печение» о «накормленности» единственного из близких, возможного «провожатого» (впрочем, знала:«Мур *не* будет ходить на мою могилу…»), забота о том, чтоб он, единственный, не остался бы ни с чем (не был бы разорен) — отсюда упоминание в предсмертной записке о 450 р. и о своих вещах, от распродажи которых можно выручить еще какие-то деньги.

В ту же первую очередь — забота о сыне, о *его* душе (а о своей душе — душе самоубийцы — как и предполагала, «подумать не успела»), с которой напоследок старалась снять груз вины, угрызений совести — отсюда не только ему, но и всем тогдашним и грядущим читателям ее предсмертных записок: «Мурлыга! Прости меня. Но дальше было бы хуже. Я *тяжело-больная*, это — уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але — если увидишь — что я любила их до последней минуты и объясни, что *попала в тупик*».

Все так — вплоть до «*лучшего*, эгоистического случая»: заботы о рукописях. Отсюда в записке Асееву и сестрам Синяковым: «В сундучке несколько рукописных книжек стихов и пачка с оттисками прозы. Поручаю их вам».

Итак, в *реальности* ее конца находим мы все то, что сама Цветаева назвала «*домоводством*» бури. Так что, думаю, ничего не «снижено» и не «заземлено» мною самовольно, а только правильно увидено сквозь призму доступных, дошедших до нас текстов Марины Цветаевой и ее сына Георгия.

Подводя итог, вернусь еще раз к последнему процитированному письму, чтобы выделить в нем один важный микроэпизод: «Между вами, не-человеками (из контекста следует: «сверх-человеками». — *Т.Г.*), я была только человек», — сказала Цветаева. А в «Сводных тетрадях» записала однажды: «Больше всего жалела бы детей, значит — *в человеческом* ***—*** больше всего ***—*** *мать»*. Сказала, записала — и всею собой, всеми годами трагического, «зрячего» и зоркого, перед силой «натуры» смиряющегося своего материнства, потаенно-жертвенной своей смертью на веки вечные удостоверила и утвердила. И, огорчаясь по многим другим линиям прижизненной и посмертной судьбы Марины Цветаевой, стоит порадоваться хотя бы тому, что эту правду о ее смерти донес до нас голос Мура, о котором со сбывшейся теперь надеждой она говорила: «Есть у меня важный свидетель — сын».

*г. Ереван*

1 В кн.: *Саакянц А.* Твой миг, твой день, твой век. М.: Аграф, 2002.

2 *Эфрон С*. Записки добровольца. М.: Возвращение, 1998. С. 3.

3 *Эфрон Г*. Дневники. В 2 тт. Т. 1. М.: Вагриус, 2004. С. 8. Далее ссылки на это издание будут даваться в тексте.

4 *Быков Д*. Против всех // Огонек. 2002. № 43. С. 49.

5 Там же. С. 51.

6*Духанина М*. Нецелованный крест // Новый мир. 2005. № 3. С. 157.

7 *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. в 10 тт. Т. 10. Л.: Наука, 1979. С. 148.

8*Духанина М.* Указ.соч. С. 166.

9*Духанина М.* Указ.соч. С. 159.

10 *Цветаева М.*Неизданное. Сводные тетради. М.: Эллис Лак, 1997. С. 553.

11 Марина Цветаева в письмах сестры и дочери / Вступ. слово и публикация Р.Б. Вальбе // Нева. 2003. № 4. С. 170.

12 Там же. С. 170.

13 Тут надо сделать одну заметку на будущее: оскорбляясь за мать, защищая ее от *посторонних*, отстаивая перед посторонними ее «объективную ценность», Мур мог тем не менее никак не стеснять себя самого в обращении с матерью. Это очень распространенный, к сожалению, тип поведения детей знаменитостей, и Мур не составил исключения из этого почти что правила.

14 *Новикова О*. Любя // Новый мир. 2005. № 10. С. 106.

15 *Цветаева М*. Указ.соч. С. 527.

16 Там же. С. 345.

17 Там же. С. 357.

18 *Цветаева М*. Собр. соч. в 7 тт. Т. 7. М.: Эллис Лак, 1995. С. 400.

19 *Цветаева М.* Письма к Наталье Гайдукевич. М.: Русский путь, 2002. С. 81.

20 Там же. С. 28, 29.

21 Там же. С. 46.

22 *Цветаева М.* Письма к Наталье Гайдукевич. С. 73–76.

23 *Цветаева М.* Собр. соч. в 7 тт. Т. 5. С. 403.

24 *Цветаева М.* Письма к Наталье Гайдукевич. С. 49–50.

25 Там же. С. 78.

26 *Цветаева М.* Письма к Наталье Гайдукевич. С. 123, 125–126.

27*Духанина М*. Указ.соч. С. 165.

28*Швейцер В*. Марина Цветаева. Быт и бытие Марины Цветаевой. М.: Молодая гвардия, 2002. С. 530.

29 Там же. С. 544, 545.

30 См. главу «Судьба, судьбы, судьбе…» в моей книге «На полной свободе любви и дара» (М.: Изд. Дома-музея М.И. Цветаевой, 2003).

31*Швейцер В*. Указ.соч. С. 562–563.

32*Саакянц А*. Указ.соч. С. 376.

33 См.: *Цветаева М*. Неизданное. Семья. История в письмах. М.: Эллис Лак, 1999. С. 510–513.

34 *Волков Соломон*. Диалоги с Иосифом Бродским. М.: Независимая газета, 1998. С. 48–49.

35 *Цветаева М.* Письма к Наталье Гайдукевич. С. 49.

36 *Цветаева М.* Письма к Наталье Гайдукевич. С. 119.

37 Марина Цветаева. Борис Пастернак. Души начинают видеть. Письма 1922 — 1936 годов. М.: Вагриус, 2004. С. 558.